

ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИМА В ИССЛЕДОВАНИЯХ Э. ПЕРУЦЦИ

Проблема возникновения Рима продолжает привлекать внимание ученых. Недавно итальянский исследователь, лингвист Э. Перуцци опубликовал труд «Возникновение Рима»¹. Автор предваряет свое исследование оговоркой относительно словоупотребления: прилагательное «ромулеанский» он понимает в двух значениях — хронологическом, как древнейший, VIII в. до н. э., и этническом, т. е. несабянский, латинский, альбанского происхождения.

¹ E. P e r u z z i, *Origini di Roma*, v. I, *La famiglia*, Firenze, 1970; v. II, *Le lettere*, Bologna, 1973. Оба тома выглядят скорее как сборники статей, чем как монографии, так как не содержат ни введения, ни заключения. Читателю предоставляется возможность самому сформулировать задачи, поставленные автором, и подвести окончательный итог его работы. В первом томе 11 глав: Имена альбанские и сабинские; Ромул; Ономастика и общество; Женское имя; Ономастические табу; Женщина в обществе; Похищение сабинянок; *Nomen* и *manus*; Детоубийство; Трансмиссия имени; *Familia* и *gens*. Второй том состоит из 8 глав: Ромул и греческая письменность; Греческое вооружение; Прославляющие надписи; Перемирие Ромула с Вейями; Книги Нумы; Помпилиев кадастр; *Exscripta exsignataque*; Анналы понтификов. В конце книги приложены репродукции памятников материальной культуры и письменности.

В центре внимания Э. Перуцци лежит *familia*. Для определения ее социального значения он обращается к ономастике, справедливо полагая, что ономастическая система связана с социальной структурой (стр. 7). Исследование строится на скрупулезном учете и анализе различных типов источников — нарративных, эпиграфических (в том числе латинских и этрусских надписей) и лингвистических с использованием данных этнографии. По мнению Э. Перуцци, у латинян, т. е. у альбанцев, вплоть до Ромула было только одно имя, а биномий (т. е. *praenomen* и *nomen*) появляется в Риме лишь с приходом сабинян. К этому утверждению он приходит не только на основе известной, восходящей к Катону и Варрону традиции о римских именах, но и с помощью интерпретации данных из произведений античных авторов, не относящихся непосредственно к ономастике. Встречающиеся в древнейшую пору легендарные Сильвии и даже реальные, засвидетельствованные, правда, позднее, фастами Тарпейи толкуются в книге Перуцци как когномены, а другие двумианные персонажи из числа альбанцев и римлян, как Меттий Фуфетий, Тудор Клуилий, Прокул Юлий, относящиеся к той эпохе, когда сабины уже вошли в римскую общину, истолковываются как показатели культурного сабинского влияния (стр. 9, 16, 37—40).

Специальному изучению подвергается имя Ромул, связанное в античной традиции с Рима. Э. Перуцци отмечает, что неясно, к какому лингвистическому слою относится этот топоним, видимо к доромулеанскому, и вслед за Г. Б. Нибуром говорит об этническом значении слова *Romulus*. Он полагает, что не название города происходит от имени основателя, а, напротив, *Romulus* от *Roma*, подобно тому как *Tiberinus* от *Tiber* в соответствии с альбанской ономастической практикой (стр. 18). Это вытекает из значения суффикса *-ulus*, распространенного в латинском и других итальянских языках (аналогичного этрусскому *-el*) не только уменьшительного, но и этнического характера. Поэтому возможна лишь такая формула: *Roma* > *Romulus* = *Romanus* (стр. 22—23). Отсюда Э. Перуцци делает вывод, что *Romulus*, не оставивший следа среди римских гентилицев, не попен, а этникон в виде когномена (стр. 25—26). Так, по мысли автора, и имя основателя Рима показывает различие в системе альбанских и сабинских имен (стр. 35). Приходится заметить в этой связи, что материала для окончательных выводов все-таки мало, и он очень специфичен. Это главным образом имена царей, героев. А такие имена непоказательны, так как не включают обычно всех ономастических элементов и остаются в памяти потомков в сокращенном виде, например, Петр I, Роланд (вполне реальные) или Алеша Попович (былинный персонаж).

Если биномий появился в Риме, согласно Э. Перуцци, с приходом сабинян, то триномий был неизбежным результатом ограниченного числа преноменов в условиях строгого биномического ономастического порядка. Участвовавшие омонимии вызвали к жизни третий обозначающий человека элемент, когномен (стр. 46—48). Разница между альбанцами и сабинянами прослеживается в книге и в женских именах, хотя и у тех, и у других, по наблюдению Перуцци, женщина имеет всего одно имя. Не является исключением и Акка Ларенция, охарактеризованная эпитетом *Lupa*. Э. Перуцци полагает, что *Larentia* стоит вне латинской ономастики, имя это могло быть образовано от мужского этр. *larθ* или иметь другое происхождение. Акка же была обозначением матери, т. е. термином общего характера, как значится в этимологическом словаре Эрну—Мэйе.

Далее исследователь подчеркивает, что природа женских имен у латинян и сабинян разная. В отличие от сабинских латинское женское имя не повторяет имени отца. Так, Рея — дочь Нумитора, Тарпейя же — исключение, подтверждающее общее правило. Сабинская женщина, напротив, всегда обозначается с помощью отцовского попен. Разница в именах отражает, по мнению Перуцци, различие в социальной организации у латинян (*Veteres Latini*) и сабинян. Переход латинов к сабинскому биномию означал изменение их социальной структуры. Отличие ономастической женской формулы у этрусов в свою очередь свидетельствует об особенностях их социальной организации (стр. 50). Последнее замечание Э. Перуцци нельзя не считать справедливым.

Затем автор монографии высказывает мысль, что римляне под влиянием сабинян уже в ромулову эпоху стали называть женщин с помощью номена. Об этом сви-

детельствует имя дочери Герсилии — *Prima*, т. е. первая из носителей отцовского номена. Это, с точки зрения Э. Перуцци, не противоречит мнению римских эрудитов императорского времени, сохраненному Фестом, о том, что римские женщины всегда имели и преномен. Большой конкретный материал, собранный исследователем, однако, показывает, что практически для обозначения женщин преноменом все-таки не пользовались. Из анализа 125 женских эпитафий, найденных между 1855 и 1907 гг. в Пренесте, датированных IV—II вв. до н. э., явствует, что помимо номена по крайней мере в это время женщины еще имели когномен либо в виде порядковых числительных (*Prima*, *Secunda* и пр.), либо — прилагательных в сравнительной или превосходной степени (*Minor*, *Maior*, *Maxima*), которые обычно стоят в надписях на месте преномена. Иногда же вместо преномена ставился номен мужа (стр. 58—60). Число истинных преноменов в надписях с того же кладбища, имеющих соответствия с мужскими, незначительно. И это, по справедливому заключению Э. Перуцци, доказывает, что преномены у латинских женщин, хоть и были, но рано вышли из употребления (стр. 65).

Выясняя причины этого, автор обращается к анализу древнеиталийских религиозных традиций, отраженных как в сочинениях античных авторов, так и в эпиграфике. Древнейшим и очень важным культом в Италии был культ женского божества, известного как *bona dea*, или *bona mater-matrona* в Риме, *dea surra* у пизенов и сабинов, истинное имя которой люди не должны были знать и тем более произносить. Подобно тому не открывали римляне и имени божества, покровительствовавшего Риму. По аналогии с таким умолчанием можно, по мнению Э. Перуцци, говорить и о табу на женские имена. Это табу вытекает из представления об имени как неотъемлемой части личности, которая проявляется не только в значении слова номен как персона, но и в обрядах: 1) *damnatio memoriae*, когда наряду с уничтожением изображений человека стиралось из надписей и его имя; 2) *evocatio*, когда латинцы, осаждая города, вызывали из них по именам богов-покровителей, считая недопустимым брать их в плен вместе с павшим городом (стр. 68—70). Эта концепция может быть прослежена и у италиков, и у этрусков, однако у последних она распространяется на мир божеств и не касается, как показывает эпиграфика, людей. Именно поэтому, полагает Э. Перуцци, табу на женский преномен следует объяснять сабинским влиянием в Риме (стр. 74).

Запрет на употребление преномена у сабинянок отражает, по мнению исследователя, их социальное положение, свидетельствуя не о зависимости или припадности женщин, а о гарантии их достоинства под охраной *pater familias*, символом которого и является его номен. При этом сабинское понятие женской чести и брака существенно отличается от латинского, допускавшего вольное поведение женщин, примером чего служит Акка Ларенция, и не придававшего серьезного значения оформлению брачных отношений (стр. 78—93). Нам представляется, что эти наблюдения автору монографии следовало бы связать с разницей в уровне социального развития латинян и сабинян. Торжество сабинских принципов в ромуловом Риме объясняется в книге соотношением сил. Похищение сабинянок трактуется не только как брак путем умыкания, но и как этап в истории римско-сабинского соперничества, закончившийся выводом сабинской колонии на территорию римлян с последующим утверждением в Риме Нумы Помпилия. То, что Нума был младшим из сыновей знатного курегата, выдвигается исследователем в качестве аргумента в пользу того, что Рим был младшим спутником по отношению к Курес, что и повлекло за собой преобладание сабинских порядков в римском обиходе, в том числе и брак типа *coemptio* (стр. 89, 95, 98).

Исследуя происхождение *nomen gentile*, Э. Перуцци останавливается на «политической природе» древнеримской *familia*. Он подчеркивает отличие слова *pater* от слов *pateris* и *genitor* и с помощью лингвистических данных приводит дополнительный аргумент, подтверждающий абсолютный характер власти, которую *pater* имел над всеми членами фамилии: суффикс *-io*, использующийся для образования патронимикона от отцовского преномена (*Tullus* > *Tullius*), тот же, что и образующий прилагательные со значением принадлежности (лат. *pater* > *patrius*; греч. *πατήρ* > *πάτριος*; вед. *pitár* > *pitryas*). Форма на *-io* эквивалентна генетиву: *sacra urna Veneris*—*sacra urna*

Veneria. Э. Перуцци верно замечает в этой связи, что неслучайно по той же модели, что и *patrius*, не образовано прилагательного *matrius* (стр. 102).

Интересные страницы посвящены наречению имени у римлян. Сопоставляя материал нарративных источников (Плутарх, Светоний, Фест, Макробий, Арнобий) и юридических (сообщение Квинта Минуция Сцеволы, содержащееся в произведении анонимного автора «Praelominā»), автор заключает, что человек в Риме получал имя дважды: одно при рождении, употреблявшееся в домашнем кругу, другое при совершеннолети (мужчина, одевая *toga virilis*; женщина, выходя замуж), официальное, имевшее юридическое значение, в частности, называвшееся главой семьи при прохождении ценза, согласно Сервиевой реформе (стр. 104—106). Исходя из этого, Э. Перуцци и толкует известное место у Плутарха (Quaest. Rom. 30) *ἴσθι σὺ Γάιος, ἐν τῷ Γάϊῳ* как свидетельство того, что по крайней мере в архаическую эпоху женщина при замужестве меняла свой преномен на мужнин, подобно тому как сейчас меняют фамилию (стр. 106). Таким образом, женщина при рождении получала имя, действовавшее лишь в кругу семьи, а для внешнего мира обозначалась с помощью патронимикона и, вероятно, когномена типа *Prima, Secunda, Tertia*, а вступая в брак, обретала имя по мужу, либо по его преномену, либо по номену, сохраняя свой, отцовский номен теперь уже в качестве преномена с дополнением «жена такого-то» в виде когномена, что подтверждается множеством эпитафий с пренестинского кладбища (стр. 107—108).

Э. Перуцци обращает внимание на тот факт, что римские женские имена (и это вообще характерно для италиков) содержат часто порядковые числительные от *prima* до *quinta* включительно, причем последнее встречается крайне редко, в то время как мужские — начиная с *quintus*, откуда, по его мнению, и появляются такие гентилиции, как *Quintius, Sextius* (стр. 112). Он не проходит мимо того, что в римском годе порядковые названия месяца тоже начинаются лишь с пятого — *Quintilius*, полагая, что между этими фактами возможна какая-то связь. Однако Э. Перуцци не соглашается с Х. Петерсеом в том, что имя *Quintus* давалось рожденным в месяце Квинтилии (стр. 115). Причину указанного распределения порядковых числительных в качестве имен для мужчин и женщин он видит в двух, казалось бы, противоречивых фактах: 1) в высокой детской смертности в древности; 2) в обычае ограничивать потомство убийством новорожденных девочек и мальчиков-инвалидов. Обычный способ избавиться от детей — подкинуть или утопить (судьба Ромула и Рема в этом смысле типична). В доказательство Э. Перуцци приводит убедительный материал — свидетельства античных авторов об италиках и греках и, что очень важно, наблюдения этнографов над племенами Северной Родезии (стр. 117—120).

Сопоставляя данные о детоубийстве у альбанцев и в раннем Риме, с одной стороны, и о некотором ограничении Ромулом *patria potestas* в осуществлении *ius vitae ac necis*, обязывая воспитывать всех мальчиков и первородных девочек, с другой, — Э. Перуцци приходит к выводу, что в этом ограничении проявилось сабинское влияние, потому что абригены, которым оно тоже было присуще, «не имели политического и культурного престижа» (стр. 119). И все же несмотря на более высокую культуру и гуманность, сабиняне практиковали в ромулову эпоху убийство девочек помимо первых дочерей, что и объясняет, по мнению автора, ограничение женских когноменов из порядковых числительных числом четыре — *Quarta* (стр. 128). Заметим в этой связи, что приписывать ограничение отцовской власти влиянием сабинян, которым присущ уже и брак типа *coemptio*, со стороны Э. Перуцци непоследовательно.

В рассматриваемой книге есть интересное место, касающееся передачи и значения номена. На основе реконструкции генеалогического древа Нумы Помпилия, а также сведений из Дигест, высказывается следующее соображение. Номен происходит от преномена *pater familias* и обозначает всех членов одного поколения его потомков, находящихся у него *in manu*. В этих пределах, т. е. в *familia communī iure*, даже после смерти *pater* агнатские узы сохраняют юридическое значение. В этом смысле *familia communī iure*, т. е. совокупность агнатов, более устойчивый организм, чем *familia proprio iure*, которая по смерти *pater* распадается на отдельные новые *familiae* с новыми *patres* во главе, наследовавшими единый, общий номен (стр. 139—140). Номен в раннюю

эпоху, по мнению Э. Перуцци, связан с familia, а не с gens, указывая не на принадлежность к gentes, а на подчинение главе фамилии. «Патронимикон не стал еще гентилицием» (стр. 149). Социальной группой с ономастическим значением была только семья. «Римская ономастика, в которой проглядывает определенная социальная структура, развивалась в направлении, прямо противоположном тому, которое предполагается для общества» (стр. 150). В то время как общество, состоявшее из gentes, постепенно распалось на более мелкие ячейки, т. е. familiae, в ономастике центр тяжести смещался с familia на gens. Э. Перуцци высказывает далее удивление, что наряду с последующим распадом gentes и падением их активности «civitas не коснулась неограниченной власти patres familias, абсолютный характер которой трудно было бы понять, если бы patres изначально были членами более обширных объединений, чем familia» (стр. 150). Он считает, что неограниченную власть отцов нельзя объяснить допущением того, что civitas укрепляла familiae в ущерб gentes, потому что именно civitas ограничивала права patres и их деятельность (стр. 152). Доказательством того, что суверенитет patres familias не унаследовали от рода и не может быть родом ограничен, Э. Перуцци считает отсутствие данных о судебных гентильных органах при наличии iudicium domesticum, консультативную роль в котором играли не только родственники, но и друзья, как в случае с Лукрецией (стр. 155—156). Даже sacra gentilicia, вопреки очевидности, не доказывают, согласно Э. Перуцци, существования в древнейшем Риме родов (стр. 138).

В очень интересном первом томе книги Э. Перуцци, богатом фактическим материалом, явственно проступают следующие моменты. 1. Характеризуя древнейший Рим, автор в качестве основного его этнического ядра называет альбанцев (латинов) и сабинов, фактически не придавая никакого значения этрусскому элементу и за пределами VIII в., что стоит в противоречии с новейшими данными науки. При этом основную культурную роль он признает за сабинянами, считая их более высокоорганизованными в социальном и соответственно более сильными в военном отношении. Рим возник не только как альбанская, но в еще большей степени как сабинская колония. В этой связи нам хотелось бы отметить, что при всех преувеличениях Э. Перуцци прав, подчеркивая большой удельный вес сабинян в Риме уже на заре его существования, против чего так категорически высказался в последнее время Пусэ², допуская их присутствие в Риме лишь с конца VI в. до н. э.

2. Заслуживают самого пристального внимания попытки Э. Перуцци разобраться в римской ономастике. Эта работа изобилует рядом интересных наблюдений и гипотез, в частности о табу на женские praenomina, которые в практической жизни заменяются когноменом, об изменении имени женщины в связи с замужеством, о принятии ею в той или иной форме (преимено или номена) имени мужа. Важно отметить при этом, что Перуцци справедливо ставит ономастическую практику в связь с нормами общественной жизни, в частности с семейно-брачными отношениями.

3. Ономастические данные в книге Э. Перуцци служат цели определения древнейшей социальной структуры Рима. Сам по себе метод не вызывает сомнений. Однако применение его автором книги не представляется нам совершенным, порою приводящим к необоснованным выводам.

Несмотря на солидную источниковедческую базу, на стремление к критическому ее освоению, источниковедческая работа, проделанная Э. Перуцци, не кажется нам здесь вполне удовлетворительной. Ведь анализ античной традиции полностью оторван в книге от данных археологии и, что особенно важно при реконструкции социальных отношений, от этнографических материалов (исключение составляет лишь вопрос о детоубийстве в примитивных обществах — стр. 120). Данные античной традиции, особенно о генеалогиях, безоговорочно принимаются автором книги. Мы отнюдь не призываем к ниспровержению всех сообщений древних писателей, полагая, что в их рассказах содержатся зерна исторической истины, что основная канва событий переда-

² J. Pousset, Recherches sur la légende sabine des origines de Rome, Louvain, 1967; он же, Les sabins aux origines de Rome, «Aufstieg u. Niedergang der römischen Welt», B.—N.Y., 1972, стр. 48—135.

на ими правильно. Но это не значит, что хронологическая последовательность в истории социальных институтов, которым уделено столько внимания в рассматриваемом труде, выдержана у античных авторов полностью. Порой на одной исторической плоскости оказываются события и явления разных периодов. Достаточно в этой связи вспомнить цензовую реформу, приписанную древними Сервию Туллию или Тезеев синойклизм данным о familia в ромулову эпоху.

Прежде всего «эпоха Ромула», датируемая традицией VIII в. до н. э., что находит свое подтверждение в археологии, не является временем первого заселения территории будущего Рима, которое можно отнести к XVI в. до н. э. Значит, стадия расцвета родовых отношений должна была предшествовать ромулову Риму. К тому же Э. Перуцци неправомерно игнорирует данные о гентильной организации, вслед за Л. Миттейсом считая sacra gentilicia результатом либо искусственных союзов, либо — раздробления первоначальной familia на несколько фамилиальных единиц (стр. 158), не обращая внимание на следы родовых отношений в iudicium domesticum. Обилие данных о familia в сохранившихся источниках он неверно истолковывает как древность этого института. Скорее наоборот. Частые упоминания, особенно в юридических текстах, — признак привычного явления, постоянно встречающегося, живого института familia в условиях сформировавшегося рабовладельческого полиса, института, вытеснившего род.

Главное, однако, состоит, по нашему мнению, в том, что Э. Перуцци не видит диалектики в развитии социальных институтов раннего Рима. Для их понимания необходимо обратиться к этнографическим параллелям. Они помогут объяснить не только хронологическую или стадиальную разницу между gentes и familiae, но и охарактеризовать их функции и сложность их взаимосвязей в разные периоды развития. Э. Перуцци без оговорок пользуется поздними юридическими памятниками, необоснованно рассматривает древнейшую римскую familia как индивидуальную, или малую семью. Между тем в рассматриваемую эпоху она могла представлять собой большую патриархальную семью или часть патронимии³, которая лишь с развитием классового общества становилась малой моногамной семьей.

Конечно, наши источники не дают достаточно материала, подтверждающего большесемейный характер ранней familia. Но все же может быть позволено привлечь в этих целях данные традиции о Нуме. Он был четвертым сыном у отца, Помпония, и, женившись на Татии, остался в семье своего престарелого родителя (Plut., Numa, 3). По одной из версий, переданной Дионисием (II, 76, 5) и Плутархом (Numa, 21, 1—3), у Нумы от двух браков была дочь Помпилия и четверо сыновей — Помпон, Пин, Кальп и Мамерк. Э. Перуцци акцентирует внимание на том, что они якобы получили прозвище «Рех» и дали каждый начало четырем знатным родам с тем же когноменом, из чего должно вытекать, что семья Нумы распалась на малые, а потомки сыновей Нумы, не бывшие у него in manu, уже не имели и его номена. Однако указанные сведения могут быть примером тех фальсификаций в семейных хрониках, которые пытались приписать знатность вовсе незнатному роду. Добавим к этому, что в указанных источниках о времени распада семьи Нумы не говорится. К тому же manus — атрибут более поздней familia. Это продукт борьбы, характерной для эволюции всех родовых институтов, борьбы коллективистского и частнособственнического начал⁴, результат победы последнего. Поэтому объяснение с его помощью механизма передачи родового имени в условиях еще не сложившегося полностью классового общества не представляется приемлемым. Таким образом, формальный анализ ономастических данных без учета этнографических не позволяет опровергнуть сложившиеся в марксистской историографии представления о направлении социального развития от рода к familia.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 62—63; М. О. Косвен, Семейная община и патронимия, М., 1963, стр. 47.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 21, стр. 25—26; Косвен, ук. соч., стр. 88, 114; К. И. Козлова, История первобытного общества и основы этнографии, М., 1972, стр. 41.

Во втором томе Э. Перуцци мобилизует огромный материал разнообразных источников, чтобы доказать наличие письменности в Риме уже в ромулов период и определить ее характер. Исследователь приводит сообщения античных авторов, восходящие к Фабию Пиктору, и, сопоставляя их с содержанием сцены, изображенной в одном из погребений времени Августа на Эсквилине (репродукция и прорисовка которой приложена в таблицах I и II), говорит, что письменностью пользовались уже в Альбе Лонге (стр. 9—10). Причем грамотность была там распространена достаточно широко, поскольку ею владели даже простые воины⁵.

Отправным пунктом определения характера письменности и культурных влияний, оплодотворявших древнейший Лаций, служит Э. Перуцци предание о воспитании Ромула и Рема в Габиях. Оно передано Дионисием, который, обнаруживая в I книге своего труда эрудицию и критический подход к первоисточникам, в качестве предметов, которым обучались близнецы, называет Ἑλλάς παιδεία и ὀπλα Ἑλληνικά (стр. 11). Представление о Габиях как о центре греко-этруской культуры, идущее от А. Швиглера, действительно, по мнению Э. Перуцци, лишь для эпохи Тарквиниев. В ромулеанское же время Габии были центром греческой образованности, если вообще не греческого происхождения городом. Ведь по одной версии, Габии основаны сикулами, а по другой — альбанцами, считавшими себя ἔθνος ἑλληνικόν. Во времена Нумитора и Амулия альбанский мир подобно Этрурии был ареной греческого влияния, так что в Габиях, как потом в Риме, пользовались греческим алфавитом (стр. 12—15). Подтверждение этому Э. Перуцци ищет в лингвистическом материале. Он использует этимологию латинского слова littera от греч. λῆθηρα (шкура, кожа, доска) с преобразованием δ в l, а также ассимиляцией φ τῆμοι (θ) и последующим переходом -θθ- или -τθ- в -tt-. Если первое (δ > l) не вызывает возражений у лингвистов, то второе (φθ > θθ > tt), исходя из известных данных о формировании латинского языка, они подвергают сомнению (стр. 17—18). Э. Перуцци преодолевает эту трудность, опираясь на соображения А. Авэ и М. Бреая (Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, VI, 1899) о том, что на процесс образования латинского языка оказывали влияние другие местные языки, носители которых были в контактах с римлянами. Значит, приведенную этимологию отбрасывать не следует, тем более что она подтверждается историческими данными, характеризующими древнейшие писчие материалы (стр. 17—19).

Э. Перуцци приводит свидетельства Геродота, Диодора и Плутарха о том, что ионийские греки, персы и карфагеняне первоначально писали на козьих и овечьих кожах (ср. определение Гесихия — διφθέρα: δέρμα, βύρα, δέλτος, γραμματεῖον, т. е. материал, на котором пишут). Можно, по мнению Э. Перуцци, говорить и о письме на кожах в Габиях VIII в. до н. э. Ведь foedus Gabinorum, заключенный Тарквинием Гордым, был, согласно традиции, записан на бычьей шкуре. А этот торжественный акт должен был сохранять древние обычаи не только в словоупотреблении, но и в применении писчего материала. Конечно, значения littera и διφθέρα совпадают лишь частично и только в форме множественного числа (написанные документы, тексты), полностью расходясь в единственном («алфавитный знак» и «обработанная для письма шкура, кожа»). Но именно эта обработка и объясняет заимствование διφθέρα со значением материала для письма, так как в латинском адекватного технического термина нет (стр. 20—22). В связи с этим, замечает Э. Перуцци, стоит и семантическое значение littera. Во времена Цицерона scire litteras означало «быть образованным», в арханскую же эпоху — «знать содержание текстов, написанных на кожах». В первоначальном Риме, как это бывает в среде с невысоким уровнем культуры, главным признаком образованности было умение читать и писать. Поэтому выражение scire litteras должно было пониматься как «знать буквы». Кстати, и Гесихий подтверждает возможность такого развития в греческом, указывая, что διφθέρα означает вообще γράμμα (стр. 23—24).

Для доказательства заимствования διφθέρα > littera еще в ромулову эпоху Э. Перуцци обращается к анализу эпиграфических и археологических материалов с о. Искья из Питекусы, опубликованных в период между 1955 и 1970 гг. Это, в част-

⁵ Dionys., I, 82,5; Plut., Rom. 8,2.

ности, ваза с надписью, содержание которой позволяет уточнить гомеровские слова из «Илиады» (XI, 632—637) о кубке Нестора. Надпись в стихах, расположенных в нескольких строках, где слова отделены друг от друга точками, свидетельствует о развитой графической традиции. Датируется сосуд VIII в. до н. э. Дата устанавливается благодаря квадратной форме букв, подобной форме знаков на табличке начала VII в. до н. э. из Марсильяна д'Альбенья, удвоению в силу метрических требований, λ в слове καλλιστε[φ]α]vo как и в надписи VII в. до н. э. на лаконском арибалле Халкидаманта (IG V, 1, 231), а главное, благодаря фрагментам других сосудов, найденных в Питекусе. Это скифос с шестью буквами, в числе которых — *сигма конечная* из четырех черточек, как и в марсильянском алфавите, котил или скифос с семью знаками, кратер позднегеометрического стиля местного производства с именем мастера, относящиеся к середине или третьей четверти VIII в. до н. э. (стр. 24—26). Комплекс этих находок показывает, что в Питекусе в VIII в. до н. э. была в ходу алфавитная письменность более развитой формы, т. е. более далекая от финикийской модели, чем афинские дипилоныские надписи VIII в. до н. э. При этом, верно замечает Э. Перуцци, если писали на вазах с помощью тростника или кисти, то, очевидно, пользовались и другими писчими материалами — шкурами, деревянными таблицами (стр. 26).

Далее Э. Перуцци останавливается на недавней находке Г. Бухнера в Лакко Амеве (Искья) — черепке котила или скифоса (потому что он и снаружи и изнутри покрыт красным лаком) с α в лежачем положении, т. е. финикийского типа, как в надписях из Дипилона. Черепок обнаружен в кремационной могиле с двумя ойнохоями среди других могил с кремациями италийского позднегеометрического II стиля, что соответствует началу протокоринфского, относящихся к последней четверти VIII в. до н. э. Черепок, по-видимому, принадлежит другому, еще не открытому кладбищу. Судя по α, он древнее могилы с ойнохоями, куда он, видимо, попал с перекопанной землей. Отсюда следует, что сосуд и алфавит либо занесены в Питекусу до эвбейской колонизации (ведь микенские причалы существовали на этом острове), либо по крайней мере аттестуют более раннюю стадию в развитии греческой письменности на о. Искья. Это, по мысли Э. Перуцци, очень важный момент, так как делает возможной диффузию греческой культуры, в том числе письменности в Италию, и утверждение ее в Габиях в VIII в. до н. э. Вместе с тем питекусские находки подтверждают этимологию littera < διφθέρα, так как указывают на возможность существования в Magna Graecia в VIII в. до н. э. литературных текстов на шкурах или кожах (стр. 27—28).

Важным звеном в цепи доказательств, которые приводит Э. Перуцци в пользу господства греческого влияния на первоначальный Рим, является исследование этимологии слова *elementum*. В древнейшей латыни *elementum* было синонимом слова *littera* (значение «фонема» для первого и «графема» для второго — результат последующего семантического развития этих слов). Для *elementum*, как и для *littera*, в словаре Эрну — Мэйе имеется греческая этимология, т. е. происхождение *elementum* от ἐλέφας. В этой связи Перуцци замечает, что первоначально греч. ἐλέφας обозначало лишь слоновую кость (микенское e-ge-ra), первое же упоминание о слоне, выраженное этим словом, принадлежит Геродоту (III, 114). В латинском языке два различных слова для обозначения слоновой кости — ebur, -ōris и животного — elephantus. Однако происхождение *elementum* через **elephantus*, как это полагает Х. Дильс по аналогии с Tarentum, Ἀκραγας > Agrigentum, по мнению Э. Перуцци, маловероятно (стр. 30—32). Он исходит здесь из известного в лингвистической науке факта: греческие слова, проникая в латынь, с помощью живой разговорной речи торговцев, предпринимателей и иммигрантов, обычно заимствуются в accusativной форме, как, например, *spelunca* < κρηπίδα; *spelunca* < σπηλυγγα и т. п. В школьном языке, к сфере которого относится и *elementum*, греч. ἐλέφας (слоновая кость) тоже должно было чаще всего употребляться в винительном падеже — ἐλεφαντα или ἐλεφαντας. Переход этих accusativов в латинское **elipenta* или **elipenta* и соответственно в **elipenta* или **elipentas* лингвистически закономерен. При этом в выражениях с legere, transcribere, obligare в процессе обучения, названные формы выступают либо как accusativ множественного числа слов с основой на -a (т. е. **elipenta*/**elipenta*, ae), либо слов сред-

него рода (*elipentum/*elepentum, i). Поскольку в латыни нет следа первого предполагаемого варианта, можно заключить, что elementum произошло не от ἐλέφαντας, а от единственного числа этого слова в аккузативе, т. е. от ἐλεφαντα. Нужно при этом добавить, что латинскому языку свойствен переход «а», в закрытом слоге внутри слова в «е» по типу: cantus — concentus, ταλαντον > talentum. Стало быть, *elipenta/*elepenta понимается в инфинитивных оборотах как множественное число слов среднего рода. Что же касается перехода р > m, то он неудивителен, если учесть архаическое явление перехода греч. β в лат. m. Ссылаясь на О. Граденвитца, Э. Перуцци утверждает далее, что в латинском практически нет слов на -pentum или -penta, но много на -mentum, -menta. Таким образом, устанавливается заимствование elementa < *elepanta < < ἐλέφαντα. Термин этот возник в школьной сфере и обозначал сначала, как и в греческом, предмет из слоновой кости и лишь позднее стал означать комплекс букв алфавита. Собрательные же слова — alphabeticum и abecedarium зарегистрированы лингвистами только в поздней латыни (стр. 29—34). Формальная, абстрактная этимология термина «буквы» elementa < ἐλέφαντα обретает конкретность в сопоставлении с реальными предметами, найденными при раскопках. Таким примером может служить табличка из слоновой кости подобная той, что обнаружена в этрусском некрополе в Марсильяна д'Альбенья (Гроссето) в могиле рубежа VIII и VII вв., описанная А. Минто. Начертанные по борту таблички идущие справа налево знаки древнейшего хуманского, как считает Э. Перуцци, алфавита, а также следы воска, безусловно, определяют находку как табличку для письма (δέλτος). Это тем более вероятно, что рядом с табличкой обнаружен стил. Латинский stilus со значениями «палочка для письма», «палка», «столб», «ствол» связан с греч. στῦλος с теми же значениями. В этом случае возможна как деривация stilus/stylus < στῦλος, так и ассимиляция στῦλος латинским словом одинакового с ним звучания.

Небольшие размеры, изящество и драгоценные материалы (слоновая кость, золотое покрытие оборотной стороны), из которой изготовлена марсильянская табличка, позволяют говорить, что она принадлежала либо учителю для написания образцов, переписывавшихся учениками, либо pater familias, следившему за обучением детей. Известно, что такой дидактический прием широко применялся в древности (стр. 35—40).

Среди греческих слов, являющихся атрибутами практики письма, стоит и δέλτος (деревянная таблица для письма). Может показаться странным, пишет Э. Перуцци, что в латинском нет следа этого слова в качестве технического термина, сопровождавшего распространение ελληνικά γραμματά наравне с διφθέρα, ἐλέφαντα, στῦλος. Но к δέλτος согласно Дарамберу и Сальо (V, стр. 347), через косвенную трансмиссию должно восходить латинское слово titulus (надпись, табличка с надписью). Этот переход: titulus < < *tetlos < *teltos < δέλτος подобен развитию индоевропейского rotlom > в латинское *roslom > rosulum. Э. Перуцци обращает внимание на то, что марсильянская слоновой кости табличка имеет форму, обычную для δέλτος; различие — лишь в материале. Вместе с тем самый предмет или материал, из которого он изготовлен, метонимически указывают на их назначение. Так, δέλτος, βιβλος, βύβλος, tabula, liber обозначают письменный текст, а слово ἐλεφας могло обозначать не только слоновую кость, но и табличку учителя, а также самый текст, служивший образцом для учеников. Поэтому discere ἐλεφαντα — это подготовить к чтению и письму, научить алфавиту, т. е. именно discere elementa. Лингвистическая и культурная история слов elementum и littera — в развитии значений этих слов: первое, обозначая собственно модель алфавита, всегда сохраняло оттенок первоначальной стадии или ячейки (что, добавим мы, закрепилось и в русском заимствовании этого слова), а второе, обозначая книги с текстами на них, стало употребляться в смысле «литературный», или «научный труд», «культура» (стр. 42—44). Это, на наш взгляд, очень интересное наблюдение.

Той же цели, что и установление рассмотренных этимологий, т. е. доказательств греческого происхождения письменности в ромулову эпоху, служит в книге Э. Перуцци и анализ еще одного слова. В этимологическом словаре Эрну — Мэе отмечена связь между латинским seга и греческим κηρός (воск) неизвестного происхождения. Э. Перуцци обращает внимание на то, что seга с значением «страница» постоян-

но встречается в юридических текстах, касающихся завещаний, во множественном числе в сочетании *tabulis scisve*. Это сочетание он считает модернизацией древней формулы федалов, содержащейся у Ливия (I, 24, 7) в рассказе о соглашении между Туллем Гостилием и Метием Фуфетием — *tabulis scisve*. Несогласованность в грамматическом числе не свойственна подобным формулам. *Nominativus* фециальной формулы, рассуждает Э. Перуцци, *tabulae scisve* должен указывать на слова во множественном числе. Следовательно, можно воссоздать единственное число **scisum*, соответствующее греческому *κῆρον*, т. е. закономерно слову в винительном падеже. Однако *scis* в биномии *tabulae scisve* понимается как слово женского рода, значит воск вместе с таблицей для письма и сочетание этих слов утвердилось в Риме до учреждения коллегии фециалов, адаптировавших это выражение, т. е. до Нумы, или в ромулову эпоху. Таким образом, Э. Перуцци приходит к выводу, что древнейшей письменностью в Риме была греческая, распространение которой сопровождалось внедрением в латынь греческой технической терминологии. И хотя этот факт еще не предполагает, что греческое письмо было внесено в Лацию именно греками, а не посредниками, этрусками или латинами, можно, по мнению автора книги, с уверенностью говорить о непосредственном греческом лингвистическом влиянии на Рим (стр. 44—48). Последнее доказывается с помощью исследования слова *lego* (читать). Э. Перуцци не считает обоснованной гипотезу Эрну — Майе о семантическом развитии технического термина *senatum legere*, от «созвать сенат», «перечислять», до «читать», полагая, что значение «читать» для *lego* очень древнее. Переводить *senatum legere* следует: «читать вслух список, в котором имена сенаторов расположены в определенном порядке». Это вытекает, по его мнению, из термина *patres conscripti*, в чем бы толковании (Ливия или Исидора) ни понимать слово *conscripti*. Греческое *λέγω* семантически развилось в направлении собирать > говорить. Латинское *lego* и греческое *λέγω* идентичны по звучанию, но не по значению. Латинское *lego* сохранило первоначальный общевропейский смысл «собирать», но не дошло до значения «говорить». Значение же «читать» — это раннее заимствование из греческого, пришедшее вместе с распространением *ἑλληνικά γραμμάτια*, когда в процессе обучения учитель, обращаясь к ученику, говорил: *λέγε* (стр. 47—53). По мысли Э. Перуцци, слова *littera*, *elementum*, *stilus*, *scis* и *lego* (читать) имеют греческое происхождение, восходят к древнейшей эпохе и сопровождают диффузию греческой письменности в латинских городах, в том числе в ромулеанском Риме.

Для подтверждения вывода о введении в Риме Ромула греческой письменности, что, согласно античным авторам, произошло одновременно с распространением греческого вооружения, Э. Перуцци обращается к доказательству достоверности традиции об ознакомлении близнецов в Габиях с эллинским оружием. Из общих показаний Дионисия и более детальных Плутарха оказывается, что самым древним видом оборонительного вооружения в Риме были аргосские щиты, которые затем были заменены продолговатыми щитами сабинского образца. Э. Перуцци детально изучает сообщения Плутарха, Аполлодора, Павсания, схолиаста Эврипида, Плиния, Ливия и др. о щитах и устанавливает, что *ἀσπίς*, изобретение которого единодушно приписывается аргосцам, именуется поэту, начиная с Геродота, *Ἀργολικὴ ἀσπίς*, а у латинских авторов — *Argolicis clipeis*. Форма этого аргойского, или аргейского щита в отличие от *θύρεος*, круглая (Serv., Aen. 3, 637). Традиция в этой части прекрасно подтверждается изобразительным искусством. Э. Перуцци и здесь использует художественные памятники с остатками надписи из эсквилинских погребений, изученные Э. Бриццо и К. Робером, в частности сцену борьбы латинян с рутулами (стр. 57, репродукция, а также прорисовка — табл. VII—X). Воины одной стороны изображены с копьем или мечом и защищены круглым щитом, панцирем и шлемом, а другие — с тем же наступательным оружием, но с продолговатым щитом и без панциря. Смуглые, красноватые тела последних аттестуют их в качестве рутулов (у Варрона и Феста *rutulus* и *rutulus* определены почти как синонимы). Верх, безусловно, берут сражающиеся с круглым щитом, к ним летит украшенная венком Победа. Вторая сцена изображает царя (будь то Латин или Амулий), восседающего на троне. Он облачен в пурпурный плащ и башмаки и держит в левой руке то ли копьё, то ли скипетр. Справа от трона — человек с длинным копьем и круглым щитом,

очевидно, из числа охраны. Так, сопоставляя данные нарративных источников и памятников древнего искусства, Э. Перуцци обосновывает свой тезис о том, что древнейший щит, которым пользовались латины и Ромул, был круглый (стр. 57—58). Круглый же щит греческого происхождения и свидетельствует в пользу греческого влияния на древнейший, доримский, а также ромулеанской эпохи Лаций, в том числе и на самый Рим. Этому не противоречит, по мнению исследователя, версия Диодора Сицилийского (XXIII, 3, 4) об этрусском характере круглого щита, который применяли римляне, потому что он описывает время Тарквиниев, т. е. двумя веками более позднее, чем ромулеанское, когда система вооружения могла быть изменена (стр. 60).

Исходя из того, что общим термином, обозначающим любой щит, у латинян был *scutum*, а также из того, что наиболее древней формой греческого прилагательного «арголийский», встречающейся у Гомера, была форма Ἀργεῖος, учитывая вместе с тем, что уже в Риме Нумы было известно прилагательное *Argēi*, Э. Перуцци полагает, что древнейшим латинским адекватным выражением для Ἀργολικὴ ἀσπίς было **Argēum scutum* (стр. 61). Связь между латинским *scutum* и греческим σκῦτος (шкура, кожа) уловили уже в древности. Происхождение *scutum* от греческого слова с основой на -es (σκῦτος, — εος) с точки зрения лингвистической сомнительно. Однако глоссарий Гесихия регистрирует множество родственных σκῦτος форм: ἡ σκῦτη, дор. ἡ σκῦτα (голова); τὸ σκῦτον, выведенное из известного *Accusativus Plur.* (с разными значениями, в том числе «сухожилие», «шея»). Этимология *scutum* < σκῦτον не вызывает возражений ни по форме, ни по существу. Ведь до арголийского щита римляне сражались только с *tela* и, стало быть, не имели никакого слова для обозначения щита. К тому же древнейший щит — деревянный, обтянутый кожей. Изготовление его не сложно, а обработка кожи в Лациуме засвидетельствована для древнейшего периода созданными Нумой (*Plut., Numa*, 17, 2) ремесленными коллегами сапожников (σκυτοστέμνοι) и дубильщиков (σκυτοδέφου). К этому Э. Перуцци добавляет метонимические названия щита у Гомера — ρυός, βοεῖα, βοc, а также аналогию семантической эволюции кожа > щит, отраженную в «Махабхарате» и «Рамаяне». Свой пассаж о щитах он заключает напоминанием о том, что, согласно Дионисию (IV, 58, 40), еще в VI в. в ритуалах произнесения присяги фигурировал круглый, обтянутый кожей щит, на котором был записан текст договора Секста Тарквиния с Габциями. Проведенный Э. Перуцци лингвистический анализ приводит его к обоснованным выводам по истории военной техники рассматриваемого периода — античная традиция называет три фазы в использовании щитов у римлян: 1) круглый кожаный щит (*scutum* < σκῦτον) греческого происхождения до мира между Ромулом и Титом Тапнем (746 г. до н. э.), изготовлявшийся, видимо, в Габциях; 2) продолговатый кожаный (*scutum*) сабинского происхождения, сменивший круглый после упомянутого мира; 3) круглый щит, который римляне восприняли от этрусков вместе с гоплитской тактикой при Сервии Туллии (578—534 до н. э.) и применяли одновременно с продолговатым, получивший специальное (может быть, этрусского происхождения) название *clupeus/clipeus* (-um) (стр. 66—69).

Далее Э. Перуцци рассуждает следующим образом. Впервые щит появился в Габциях, а затем в Риме как элемент греческого военного искусства. Однако Лаций заимствовал у греков не только щит, но одновременно всю защитную экипировку. Достоверность сведений античной традиции об этом проверяется лингвистическими данными. Прежде всего Э. Перуцци обращает внимание на то, что в противовес греческому латинский язык не знает единственного числа для слова *arma*-, *-ōrum* даже, когда по модели τὸ ὄπλον им обозначается лишь щит.

Затем исследователь переходит к анализу латинского и греческого слов «панцирь»: *logica* и *θώραξ*, *ἄλος* (микен. *Nomin. Plur. to-ra-ke*). Он не соглашается с содержащимся в словаре Эрну — Майе мнением языковедов о том, что оба слова имеют общего предшественника в каком-то неизвестном нам языке. Э. Перуцци считает, что *logica* связана не с *Nomin. θώραξ*, а с *Accus. θωράξα*, что и объясняет разницу в грамматическом роде этих слов. Препятствие для такой этимологии составляет переход *-ā* > *-i*. Но оно отпадает, если учесть, что кроме формы *θωράξ*, существует ионийский вариант *θώραξ*, *-ηκος* позволяющий переход *-η* > *-ē*. Из сочинений Варрона и Феста из

вестно, что латинские слова на *-ēsa* древнее слов на *-īsa*. Первоначально *spīsa*, *amīsa* звучали как *srēsa*, *amēsa*. Значит развитие *-ŕ- > -ē- > -ī-* вполне закономерно. Остается лишь необъясненным переход *ŕ > l*. Но в этой связи Э. Перуцци обращает внимание читателя на три факта, которые могут повлиять на этот переход: 1) видимо, народная этимология *logīsa* от *logum* (кожаный ремень), которая содержится у Варрона, Исидора, в схолиях к Энеиде Вергилия (II, 679); 2) *Θελις*, фигурирующий у Эвния (Varro, II, VII, 87) как *Telis*; 3) замечание Варрона (rr., 3, 9, 19) о том, что *antiqui... Thetim Thelim dicebant* (причем *telis* засвидетельствован пренестинской надписью).

Так, Э. Перуцци обосновывает греческую этимологию *logīsa*. При этом он исключает возможность занесения исходного термина микенцами (микен. *to-ra-ke*) и полагает, что своим происхождением *logīsa* обязана эвбейской колонии (ион. *Θορῆ*) может быть даже *τέτοιον*, эвбейским предколонистам Великой Греции, т. е. тому культурному очагу, из которого распространялась *ἑλληνικὰ γράμματα*, в том числе куманский алфавит, а также греческое вооружение. Вместе с тем он не проходит мимо существующих в лингвистической науке данных о наличии в некоторых индоевропейских языках похожих слов, обозначающих «щит», которые могут быть как цепью заимствований, так и общего происхождения от **skeito-* (**sqeito-*) со значением «дерево», «доска», которое лингвисты пытаются постулировать и для *scutum*, хотя оно и не засвидетельствовано. К этому добавляется факт, что от виллановианской эпохи дошли изображения щитов, но не сами предметы. Это можно объяснить нестойкостью материала, из которого они изготавливались, в том числе дерева (стр. 73—75). Однако, по мнению Э. Перуцци, для решения «судьбы» лат. *scutum* важнее этрусские стелы VII—VI вв. до н. э. Это стелы — Авла Фелуске из Ветулонии, Ларта Миния из Фезул и Авла Тите из Волатерр. На них представлены воины, вооружение которых состоит либо только из *tela*, либо и из *arma*, что соответствует разным фазам в развитии вооружения и у *veteres Latini* (стр. 72). Допускать же проникновение щита в Лаций из северноевропейского ареала через Этрурию, сближая, таким образом, *scutum* со словами, идущими от **skeito*, значило бы неоправданно отбрасывать факты, доказывающие греческое происхождение сопутствующей щиту *logīsa* и вообще надежно засвидетельствованное культурное влияние греков на Лаций VIII в. И как греческая письменность в ромулеанскую эпоху имела своей предшественницей письмо Питекусы, так, по мысли Э. Перуцци, греческий круглый щит, распространившийся по Центральной Италии из Кум, имел своим предшественником *Ἀργολικὴ πτελίς*, применявшийся во второй половине VIII в. на о. Искья, о чем говорят изображения на осколке вазы геометрического стиля из Лассо Амено (стр. 77, табл. XVI). Центром распространения греческого влияния в Лациуме не случайно были Габии, так как они находились на пути из *Magna Graecia* в Этрурию.

После доказательств существования письменности в Риме в ромулеанскую эпоху Э. Перуцци переходит к разбору традиции о древнейших письменных памятниках. Материал из сочинений античных авторов собран им буквально по крупицам. Первое сообщение о надписи во славу знаменательного события — триумфа по случаю победы Ромула над камеритами (после 741 г. до н. э.) принадлежит Дионисию (II, 54, 2): надпись о деяниях Ромула, сделанная греческими буквами, сопровождается его изображением (*εἰκόνα*), установленное рядом с воздвигнутым в честь Гефеста медным треножником из добычи. Переводчики Дионисия обычно под *εἰκόνα* понимают статую и, считая тогдашний Рим слишком примитивным для такого творчества, отвергают целиком сообщение Дионисия как недостоверное. Однако Э. Перуцци возражает против этого, потому что *εἰκόνα* как и латинское *imago* — термины ёмкие и могут обозначать не только скульптуру, но и вышивку и нацарапанное на камне изображение. Резьба же на камне должна была существовать в Риме с незапамятных времен, если Нума (Plut., Numa, 8, 7—8) запретил изображать богов в образе человека или животных. Подтверждение достоверности сведений Дионисия Э. Перуцци видит также и в сообщении Плутарха (Rom. 24, 3) о победе Ромула над камеритами, в честь чего в храме Гефеста было установлено изображение царя, увенчанного венком богини Победы. И хотя речи о надписи здесь нет, правильность версии Дионисия подкрепляется существованием культа Виктории с ее атрибутом — венком славы не только при Ромуле, но и в доромуле-

авскую эпоху, т. е. у поселившихся на Палатине аркадцев (стр. 83—84). Древность обряда увенчания и самого слова *согна* удостоверяется лингвистикой. Э. Перуцци, принимая во внимание приятную современной наукой (этимологические словари Эрну — Майе, Вальде — Хофманн и др.) этимологию *согна* < *χορῶνη* замечает, что в греческом существуют более древние формы *χορῶνός* (или *χορῶνόν*), сходные с прилагательным *χορῶνός* — «изогнутый»,¹ замененные затем словом *στέφανος* и исчезнувшие в I в. до н. э., а также *χορῶνίς*, еще более ранняя форма, VIII—VII вв. до н. э., ко и тогда уже редко употреблявшаяся. Стало быть она восходит к более глубокой древности.

Признание достоверности традиции Дионисия и Плутарха о греческой надписи, сопровождающей изображение увенчанного венком Победы Ромула, дает Э. Перуцци основание верить традиции о глубокой древности погребальной надписи на могиле с форума, которую уже в античности приписывали то Ромулу, то Фаустулу, то Гостилию (стр. 89—91). Кроме посвячительных надписей, по мысли Э. Перуцци, греческая письменность использовалась в ромулеанском Риме и для оформления международных соглашений. Сомнения ученых в существовании в Риме договоров до заключения первого договора с Карфагеном (конец VI в. до н. э.) он считает лишь привычным скептицизмом. Поскольку письменность была уже в ходу, известные Дионисия (II, 55, 6) о записи текста договора о перемирии Ромула с вейентами перестает быть невероятным, тем более что античная традиция донесла до нас конкретные пункты этого соглашения — передача римлянам области *Septem pagi*, соляных копей и 50 заложников. *Στήλαι*, на которых был начертан договор, несомненно плиты или столбы из камня (будь они из металла, это было бы оговорено), подобные, очевидно, *ciprus* форума и пр. Особенно существенным в упомянутом известии представляется Э. Перуцци то, что *στήλαι* — множественное число, откуда следует, что текст был написан по крайней мере в двух экземплярах (стр. 95). Однако этот факт знаменателен еще и тем, что указывает не на альбанский, а на сабинский обычай. Аргументируется это: 1. указанием Дионисия (III, 33, 1) на постановку в сабинских святилищах столбов с надписью, содержащей договор сабинян с Туллом Гостилием, в то время как о стелбах в Риме источники ничего не говорят; 2. умолчанием источника (Дионисий) о том, где именно в Риме были поставлены плита или столб с публичнейшей столь важного документа, как договор с Вейями (это, кстати, позволяет Э. Перуцци предполагать, что текст был скопирован, скорее, для вейентов и их союзников, т. е. побежденных, как потом и в случае с Туллом); 3. записью текста договора Тарквиния Гордого с Габиями,² очевидно, согласно местному обычаю, не на камне, а на коже (стр. 104).

Касаясь характера римско-вейентского соглашения, Э. Перуцци высказывает справедливое замечание, что оно было типа *sponsio*, а не *foedus*, поскольку коллегии фидеалов до Нумы в Риме не существовало (стр. 98), и являлось, действительное, *inductiae*, а не *raх*, так как было заключено на 100 лет. Последнее обнаруживает в договоре следы этрусской концепции и подтверждает достоверность традиции о договоре Ромула с Вейями, потому что до 624 г. до н. э., т. е. примерно в течение 100 лет, вейенты, согласно Дионисию (III, 41, 3) на Рим не нападали (стр. 102). Таким образом, Э. Перуцци приходит к выводу, что римско-вейентский договор ромулоид эпохи существовал, и даже если он принадлежал больше этрусской древности, чем римской, все же служит доказательством значения письменности в сфере международных отношений государства Ромула (стр. 106).

Важнейшие данные, позволяющие охарактеризовать древнейшую римскую культуру, содержатся в традиции о Нуме. Автора монографии прежде всего интересует традиция о книгах второго царя. Открытие этих документов в 181 г. до н. э. справедливо оценивается Э. Перуцци как достоверный исторический факт, и потому что о нем говорят наиболее древние из писавших по латыни анналистов, и потому что сенатское постановление о судьбе этих книг читал в изложении Валерия Анциата двумя с половиной веками позже Плиний Старший (стр. 107). Тот факт, что античные авторы пишут о находке и о самих *libri* Нумы более или менее согласно и, одновременно отмечая примечательное, каждый со своей точки зрения (Кассия Гемину, например, поражает сохранность книг, Ливия интересует политическая борьба, развернувшаяся вокруг

находки, Варрона занимает их религиозное содержание и т. д.), позволяет Э. Перуцци составить о них и их значении довольно полное представление.

Сопоставляя две версии о собственности участка у подножия Яникула, на котором случайно были обнаружены документы Нумы, Э. Перуцци считает возможным их совместить. Он полагает, что писец Л. Петиллий, родственник городского претора Квинта Петиллия, был собственником земли, писец же Гней Теренций, хотя и свободный человек, потому что обозначен с помощью и преномена, и гентилиция, занимает по службе более низкое положение, сам трудится на поле и является, очевидно, узурфруктари-ем Петиллшевой земли (стр. 114—115). Из двух версий о количестве саркофагов Э. Перуцци считает версию Гемини, принятую Плинием, неверно прочтенной уже в древности. Текст анналиста, по мнению автора, содержал *eadem* (т. е. «равным образом»), а не *in eadem* (т. е. «в том же самом» саркофаге). Значит, саркофага было два (стр. 115—116). Каждый из них был написан частично латинскими и частично греческими буквами, уже непонятными для римлян II в. до н. э., знакомых с *priscae litterae*. И это уже, согласно Э. Перуцци, свидетельствует об аутентичности надписей. Очень существенны в этой связи и упоминания о деталях, характеризующих способ консервации книг Нумы: они писаны на стойком материале, папирусе, пропитаны какой-то кислотой (от моли), сложены в две стопки по семи книг в каждой и придавлены тяжелым квадратным камнем, обернутым навощенными пеленами. Автор монографии присоединяется к общему в науке мнению о том, что идущие от Валерия Анциата сведения о 12 книгах в связках ошибочны, коррекция XII на VII палеографически очевидна (стр. 121). Что касается направления письма реликвий Нумы, то Э. Перуцци высказывает предположение, что оно было ориентировано слева направо, подобно тому как это было в архаических греческих надписях (среди них имеется надпись VIII в., найденная в Питекусах), в первых фалисских (VII в.) и некоторых древних этрусских надписях. Об ином направлении письма в источниках, как полагает автор книги, было бы сказано (стр. 122).

Э. Перуцци пытается определить и вид и содержание книг Нумы. Одни источники говорят, что по крайней мере некоторые из них заключали в себе пифагорейскую философию (Кальпурний Пизон и Валерий Анциат), другие — «понтификальное право», «доктрину Нумы», его «декреты» (Ливий, Дионисий). Но уже Ливий, Дионисий и Плутарх отрицали «пифагорейзм» Нумы. Одна часть книг, согласно традиции, была на греческом языке, а вторая — на латинском. Э. Перуцци обращает внимание на то, что греческие книги по решению сената, видимо под давлением партии Катона, были сожжены, латинские же охранялись с великим усердием понтификами, которым они были переданы (стр. 123). Он считает далее нужным отметить, что *libri* написаны на папирусе, который, за редким исключением, в Италии не растет. В римской древности пользовались для письма лубом (*liber*), часто употребляли кору, особенно лысы, из которой изготовляли таблички, пригодные и для других целей. Латинское слово *codex* (*caudex*), т. е. деревянный обрубок в значении «деревянная табличка для письма» (как и герм. * *bokiz*, готск. *bokos*, староангл. *bēc*, старонем. *buch* → *Buch*) ясно подтверждает эту практику, причем чаще всего оно употреблялось, как и указанные германские слова в *Pluralis* — *codices*. Имеются сведения и о том, что писали на пальмовых листьях (традиция о кумской Сивилле), на полотне и воске, а государственные акты на свинце. Однако все это, по мнению Э. Перуцци, не противоречит подлинности сведений о папирусных *libri* Нумы. Ведь папирус, экзотический и дорогой материал, не будучи в массовом обиходе, тем не менее мог применяться для документов особой важности. В Риме VIII в. до н. э. его уже должны были знать от италийских греков, торговавших с Египтом. Известие же Варрона о том, что Италия узнала папирус лишь в IV в. до н. э., может быть объяснено тем, что сократившиеся контакты этрусков и Лация с греческим миром прекратили на время импорт этого материала, который возобновился лишь в IV в. до н. э. (стр. 137—138).

Книги Нумы, согласно Э. Перуцци, названы *libri* в надписи на саркофаге случайно. Дело в том, что слово *liber* развилось из архаической формы **libros* (по образцу *sacer* < *sakros*). А слово **libros* (писчий материал), по-видимому, ассимилировало греч. βιβλος (луб, рулон, свиток, растение), которым в глубочайшей древности греки

обозначали и папирус, равно как и слова βύβλος, χάρτι (стр. 139—141). В таком случае *libros означало и «рулон», «свиток». Но не потому, что в первоначальном Риме уже существовали тексты, заключенные в volumina из местных материалов, а скорее в силу того, что *libros сначала понимался именно как папирус, а затем уж и как вообще писчий материал. Такое положение, как подчеркивает автор, вполне соответствовало культурной ситуации, возникшей под влиянием греков в Лации VIII в. до н. э., где совершенно определенно практиковали письмо на коже (διδφθερα > littera) и на слоеной кости (ἐλέφαντα > elementa). Поэтому Э. Перуцци считает верным понимать libri Нумы Помпилия как папирусы Нумы. Это тем более вероятно, что половина его книг была на греческом языке (стр. 142—143). Таким образом, и этот пассаж в книге Э. Перуцци в конечном счете направлен на доказательство того, что в VIII в. до н. э. в Лации и в Риме господствовало греческое культурное влияние.

Пытаясь уточнить содержание латинских книг Нумы, Э. Перуцци пишет, что часть их заключала религиозные установления, а другая — административные реформы. Понять же эти реформы можно, лишь учитывая аграрные отношения в Лации. Если для Альбы Лонги их характер установить трудно, то в ромулеанском Риме, по мнению автора, существовала частная собственность на землю, что вытекает из сообщений Ливия (VI, 41, 10) и Дионисия (II, 7, 4) о наделении римлян участками в два югера, которые передавали по наследству (Varro, r. r., I, 10). Хотя обычай limitatio уже существовал при Ромуле, Нума сделал его обязательным в отношении и частной, и общественной земли. В этом согласно Э. Перуцци, проявилось распространение на Рим норм сабинского земельного права (стр. 147). Следующим установлением Нумы был закон, предписывавший каждому описать свое имущество и поставить камень на межах (Dionys. II, 74). Э. Перуцци считает, что это — lex regia, подобный тому, что содержится в законах XII таблиц (7, 7). Третий закон касался установления sacra богу Термину. Характерно, что и у Дионисия (II, 74), и у Феста он начинается одними и теми же словами (εἰ δὲ τις ... и si quis...). Это обнаруживает аутентичность формулы и достоверность самого закона. Плутарх (Numa, 16, 4) уточняет этот закон, говоря, что Нума поделил землю на паги, поставив над ними надзирателя и стража. Все вместе взятое свидетельствует, по мнению Э. Перуцци, о введении земельного кадастра, что преследовало фискальные цели (стр. 152). Подтверждение этого вывода автор видит в параллели микенской эпохи, а именно в Пилосских табличках. Резюмируя, он замечает, что законы Нумы стали первым случаем применения письменности в административных целях, что позволяет оценить распространение и значение «ελληνικά γράμματα во второй половине VIII в. в сабинском обществе, а отсюда и в agreste Latium (стр. 153).

О религиозных установлениях Нумы также, по мнению Э. Перуцци, можно составить довольно точное представление на основе сочинений более поздних авторов. В первую очередь исследователь отмечает, что сообщение Плутарха (Numa, 22) о похоронах Нумы составляет часть очень точной традиции, так как в ней говорится о libri без разделения их на латинские и греческие, что аттестует ее как версию, возникшую до 181 г. до н. э. Если книги были захоронены вместе с Нумой, рассуждает далее Перуцци, а к ним обращались тем не менее и Тулл Гостилий и Анк Марций, опубликовавший часть из них, значит уже при жизни царя с них была снята хотя бы одна копия. И следы этой копии имеются у Ливия (I, 20). Текст Ливия, несомненно, достоверен, так как передает понтификальную традицию. Ведь у Ливия по сравнению с Дионисием, Плутархом и др., несмотря на краткость изложения, обязанности понтификов (а именно, великого понтифика) очень подробно определены. Можно думать, что эта детализация обусловлена тем, что Ливий черпал сведения из текста, отредактированного понтификами, вероятно, из Annales maximi. Отсюда же Э. Перуцци делает очень важный и обоснованный вывод о том, что sacra omnia exscripta exsignataque, упомянутые Ливием I, 20, 5—7), были копией какого-то архетипа. Он полагает, что копия эта была полностью или частично проверена Нумой, а позднее с нее делались и другие копии (например, Анком). В самом деле сухие и краткие слова: «quibus diebus, quibus hostiis, ad quae templa» и т. д. похожи на заглавия какого-то текста религиозных предписаний (стр. 155—163). Копии должны были распределяться в зависимости от содержания

между различными жреческими коллегиями. Подтверждением этого может, по мысли Э. Перуцци, быть известный текст арвальских братьев, в котором содержится оборот *libellis acceptis*. И если каждый жрец произносит *carmen*, читая *libellus*, значит это — копии, хранившиеся коллегией.

Записки Нумы составили, таким образом, ядро понтификальных книг, которые с течением времени расширялись и дифференцировались (*libri caerimoniarum*, *libri de sacerdotibus* и т. д.), становясь ядром архивов разных жреческих коллегий. И именно функция хранения аутентичных копий священных писем Нумы и являлась основой быстрого восхождения коллегии понтификов до положения, при котором она возвысилась над всеми другими жреческими коллегиями, основой их политической власти (стр. 167). Владение всеми священными текстами и возможность их интерпретации сделали понтификов ответственными за так называемую псевдотрадицию царской эпохи. Во всяком случае борьба партий «альбанского» Тулла Гостилия и «сабинского» Анка Марция закончилась победой «помпильянской ортодоксии». Анк Марций часть книг Нумы обнародовал, значит, заключает Э. Перуцци, должен был опубликовать на таблицах (стр. 172). Публикация, видимо, ограничивалась лишь частью, касающейся *sacra publica*, основной же текст оставался тайной понтификов, недоступной плебсу.

Особому рассмотрению подвергаются в книге Э. Перуцци анналы понтификов. Важные государственные документы, вышедшие из-под «пера» Нумы и неоднократно копировавшиеся, предполагают не только широкое распространение письменности, но и развитие письменной речи, что мало согласуется с лапидарным стилем анналов, согласно традиции. Нума поручил понтификам вести запись достопамятных событий и обнародовать ее. Этой цели служили *tabulae dealbatae*, побеленные известью или штукатуркой деревянные доски, выставлявшиеся для всеобщего обозрения на одной из стен регии. Текст начинался с датировки и указания эпонима, затем следовали сообщения о ценах на хлеб, о затмениях, атмосферных явлениях и пр. Последнее наталкивает Э. Перуцци на мысль, что доски вывешивались собственно не для тех, кто проживал в Риме и, стало быть, мог все сам наблюдать, а для тех, кто оказывался в городе скорее всего по случаю нундии (стр. 178). Он анализирует сообщение Макробия (*Sat. I, 16, 35—34*) о том, что сельские жители приходят в Рим *ad mercatum legesque accipiendas*. Но поскольку первоначально нундины были в числе *dies nefasti*, т. е. относились к *feriae*, во время которых комиции не собирались, *leges accipere* нельзя понимать как «принятие законов». Значит нундины использовались для всякого рода объявлений, обнародований, публикаций. Эта гласность могла осуществляться либо письменно (*proponere*), либо устно (*praedicare*) на форуме (стр. 183). Применение таблиц для краткой записи достопамятных событий, происшедших в течение года, не стоит, по замечанию Э. Перуцци, в противоречии с употреблением папируса для более обширных текстов, и оба факта лишь подтверждают распространение письменности и грамотности в древнейшем Риме. Интересен отмеченный автором монографии момент: у Дионисия (III, 36, 5) содержится ремарка о том, что в древности еще не употребляли для письма металлических досок, а пользовались лишь дубовыми. Отсюда он делает вывод о том, что и сообщения греческого историка могли восходить и к VII в. до н. э. и к более позднему времени (стр. 186).

Специальному рассмотрению подвергается в книге Э. Перуцци вопрос о размере «годовых таблиц». Представить эти *tabulae* он пытается с помощью капуанской черепицы и надписи, которую можно назвать отрывком из анциатского календаря, и стиха Энния о затмении солнца со сведениями, почерпнутыми, возможно, из годовых таблиц, или, во всяком случае, аналогичными тем, что на них помещались. Он считает, что строка капуанской черепицы содержит больше знаков, чем другие сравниваемые тексты. Далее Э. Перуцци допускает, что на каждый месяц приходилось примерно пять достопамятных событий или явлений, которые записывались на пяти строках. Исходя из 13 (12 + 1 вставной) месяцев в году, на годичную запись требовалось до 65 строк. Капуанская таблица при учете обломанной части содержала 67 строк и имела высоту 30 см. Значит, заключает Э. Перуцци, такого же размера как минимум должна была быть и римская *tabula*, но деревянная таблица, будучи сколоченной из нескольких

досок, могла быть и несколько больше (стр. 187). Знаменательно, однако, что античные авторы, говоря о годичной доске, не употребляют терминов *tabulae* или *codex*, что является свидетельством краткости помещаемых на них текстов. Отсюда исследователь делает вывод, что годичные записи на досках не могли составить тех 80 книг, которые были опубликованы Муцием Сцеволой. На это наталкивает и Сервий (Aen. I, 373), характеризующий *Annales maximi* как *annui commentarii*. К тому же из «Фаст» Овидия (IV, 11—12) вытекает, что в «Анналах» содержались сообщения доромуловой эпохи и, таким образом, более ранние, чем сама коллегия понтификов, которые вели годовые записи. Все это, по мнению Перуцци, заставляет сделать два важнейших вывода: 1) *Annales maximi*, видимо, действительно, начинались *ab initio rerum Romanorum*. Это означает, что понтифики собрали древнейшую римскую традицию, которую Нума должен был учесть из политических соображений; 2) каноническое издание анналов было текстом более пространном, чем совокупность годичных записей на досках. Видимо, понтифики помимо кратчайших заметок на *tabulae*, архив которых был бы слишком громоздким и непрочным, вели еще вплоть до 130—115 гг. до н. э. записи, кумулирующиеся в *volamina*. И это вполне вероятно для эпохи Помпилия, оставившей после себя по крайней мере два пространных текста на папирусе (*libri Numa*). Очевидно, из этих понтификальных записей, хранившихся в архиве, и черпали свои сведения анналисты. Дионисий и более поздние авторы, не видевшие *tabulae*, не представляли себе разницы между двумя видами изданий, вышедших из-под «пера» понтификов, и вольно, как уже заметил В. И. Модестов, обращались со словами *commentarii pontificum*, прилагая их к разным текстам, существовавшим до галльского пожара. Это обстоятельство, по мысли Э. Перуцци, также свидетельствует в пользу особого, отличного от *tabulae*, вида понтификальных записей, которые можно было легче спасти, чем тяжелые доски (стр. 190—203), в частности и от пожара регии 148 г. до н. э. Можно, значит, признать достоверным и утверждение Ливия, что при пожаре погибла большая часть документов, но не все.

Известно, что Цицерон видел *Annales maximi*. По общему в науке мнению, происхождение этих текстов не уходит глубже границы 390 г. до н. э., так как их содержание идентифицируется с записями на *tabulae dealbatae*. Если же их архетип совпадает с *annui commentarii* понтификов, можно говорить об их большей древности и, главное, большей достоверности, а отсюда — и большем доверии к анналистам, черпавшим сведения из этих первоисточников. Конечно, «редакторская» рука понтификов к этим текстам прикасалась. Доказательством этого является та рационалистическая версия гибели Ромула во время затмения солнца, которая сохранена ливианской традицией. Эта версия обусловлена знакомством с научным объяснением затмений, принадлежащим Анаксагору и распространенным Периклом. Все эти факты помогают Перуцци понять причину уважения и доверия древних к традиции (стр. 206).

Второй том книги Э. Перуцци очень целенаправлен. Подбор материала источников подчинен задаче доказать решающее влияние греческой культуры на примитивный Лаций, в том числе на ромулеанский Рим. Как известно, вопрос о происхождении латинской письменности окончательно не решен⁶. Находка в 1921 г. архаического алфавита VII в. до н. э. в Марсильяна д'Альбенья стала истолковываться как доказательство непосредственного заимствования алфавита этрусками у финикийцев без посредничества греков. А это в свою очередь в сочетании с обнаружением на территории Рима этрусских вещей и надписи VII в. до н. э. позволяет говорить об этрусских корнях древнейшей римской культуры, в том числе и латинской письменности⁷. Однако приведенные Э. Перуцци новейшие эпиграфические данные — надписи VIII в. до н. э. из Питекусы (Искья) — действительно составляют новый аргумент в пользу греческого происхождения латинского алфавита. При этом следует считать правильным замечание автора монографии о том, что черепок из Лакко Амено с альфой «лежачей»,

⁶ В. И. Модестов, Лекции по истории римской литературы, СПб., 1888, стр. 19—20; Е. Ф. Федорова, Латинская эпиграфика, М., 1969, стр. 37—45.

⁷ Л. С. Ильинская, История и культура античной Италии и Рима в свете археологических открытий последнего десятилетия, ВДИ, 1973, № 1, стр. 178.

т. е. финикийского типа, может рассматриваться как свидетельство того, что предмет с надписью принадлежал культуре, представленной на Искье (Питекуса) до эвбейской колонизации, видимо, занесенной микенцами, чьи торговые причалы были на острове. И все же, несмотря на убедительность свидетельств в пользу греческого влияния, значение этрусков в дотарквиниевом Риме требует дальнейшего уточнения, хотя бы в связи с явно этрусскими следами в римской ономастике царской эпохи (например, названия триб, имена царей).

Безусловно интересна работа Э. Перуцци с источниками. Это, как мы видели, и привлечение новейших эпиграфических материалов, и удачные лингвистические параллели в сочетании с данными общекультурного характера, подтверждающие уже известные и устанавливающие новые греческие этимологии ряда латинских слов, таких как *littera*, *elementum* и др., и плодотворное сопоставление данных традиции с эскиллинскими изображениями сцен из истории древнейшего Рима. Последнее, однако, не столько доказывает достоверность сообщений Дионисия Галикарнасского и Плутарха о типах вооружения в древнейшем Лацио, сколько устойчивость передаваемой ими версии и, таким образом, обогащает источниковедение древнего Рима. Вообще в этом плане второй том книги Э. Перуцци весьма содержателен.

Особенно существенным представляется пассаж, относящийся к книгам Нумы. Здесь исследователь вновь возвращается к проблеме *leges regiae*. Вопрос об историчности царских законов дебатировался в XIX в.⁸ и продолжает дебатироваться в трудах ученых XX в. При этом в литературе находят место и положения о достоверности традиции относительно *leges regiae* и тезис о ее фальсификации⁹. Э. Перуцци, как нам представляется, с полным основанием считает, что текст Ливия (I, 20, 5) построен по модели архаических текстов, даже с заимствованием некоторых фраз (*quibus diebus quibus hostiis... fierent* и т. п.), и видит в выражении *exscripta exsignataque* техническое выражение для обозначения официальной копии с древнейшего оригинала. Эти выводы Э. Перуцци, таким образом, и уточняют наши представления о времени Нумы и имеют более общее значение, выделяя в ливианской традиции достоверные сведения, восходящие к царской эпохе.

Для оценки античной традиции очень важна глава книги, посвященная анналам понтификов. В результате источниковедческой работы на протяжении XIX—XX вв. было выработано представление о том, что Муций Сцевола собрал сохранившиеся во втором веке до н. э. и восстановленные записи, произведенные на *tabulae dealbatae* и издал их в виде *Annales maximi*¹⁰. Уже В. И. Модестов, с работой которого о латинской письменности Э. Перуцци познакомился в берлинском издании 1871 г., отмечал разнообразие литературной деятельности понтификов, выделяя разные виды их записей (*libri, commentarii, annales*)¹¹. Развивая мысль В. И. Модестова, автор рассматриваемой монографии высказывает, на наш взгляд, обоснованное заключение о характере *Annales maximi* и их первоисточников, а также о материалах, использованных римскими анналистами. Это также способствует уточнению наших знаний о римской традиции, повышает в целом доверие к версиям старших анналистов.

Наряду с указанными выводами, обогащающими как источниковедческую науку, так и наши представления о первоначальном Риме, во втором томе Э. Перуцци содержится заключение и спорного, и весьма сомнительного свойства. Прежде всего это вопрос о наделении земель и межевании полей, что приписывается традицией Ромулу и Нуме. Э. Перуцци категорически заявляет, что в ромулеанском Риме уже существовала частная собственность на землю и что Нума упорядочил пользование как частными,

⁸ Модестов, ук. соч. стр. 23—25; А. И. Немировский, История раннего Рима и Италии, Воронеж, 1962, стр. 23.

⁹ L. Н о т о, *L'Italie primitive et les débuts de l'Imperialisme romain*, P., 1925, стр. 21—22; R. P a r i b e n i, *Storia di Roma*, v. I, Bologna, 1954, стр. 12—13.

¹⁰ Н о т о, ук. соч., стр. 12; G. G i a n n e l l i, S. M a z z a r i n o, *Trattato di Storia Romana*, v. I, Roma, 1953, стр. 17.

¹¹ Этой точки зрения придерживаются Н. А. Машкин (История древнего Рима, М., 1950, стр. 10) и А. И. Немировский (История раннего Рима и Италии, Воронеж, 1962, стр. 23).

так и общественными землями. Однако из источников, которыми пользуются исследователи, это никак не вытекает. В самом деле, Дионисий Галикарнасский (II, 7) сообщает о разделении римлян на трибы и курии Ромулом и о разделении путем жеребьевки между 30 куриями земли поровну, употребляя слова διελών τὴν γῆν εἰς τριάκοντα κλήρους ἴσους и об резервировании части земель в качестве общей неделимой. И если последнее, выраженное в словах καὶ τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπόν может рассматриваться как общая земля, как зародыш *ager publicus*, то полученные курией по жребью участки лишь подтверждают коллективный характер землевладения в древнейшем Риме. Этому нисколько не противоречит сообщение Варрона (III, 1, 40, 2) о разделе Ромулом двух югеров, которые стали объектом передачи по наследству (*hereditium*). Ведь, во-первых, текст Варрона не содержит указаний на то, что наследственность передачи земли, осуществлялась уже в ромулеанскую эпоху, а во-вторых, передача по наследству вовсе не доказывает обязательно частнособственнических отношений (*dominium*) и может действовать в пределах владельческих (*possessio*), не прерывая периодическим земельным переделам. Даже упоминание Дионисия о межевых камнях (II, 74, 25) не доказывает безоговорочно частной собственности на землю в правление Нумы. Дионисий в связи с этими камнями говорит об учреждении Нумой культа богу Термину и празднике терминалий. Плутарх же (II, 16) связывает культ Термина не с межеванием, а с определением границ римских владений вообще. И хотя оба автора говорят о том, что божество охраняет границы общих и частных владений, помня, что эти авторы поздние, следует сказать, что их слов недостаточно для признания того, что частная земельная собственность утвердилась в Риме именно в VIII в. до н. э.

Конечно, исследование Э. Перуцци вносит корректив в представление об этой эпохе как о крайне примитивной, но археологические следы ромулеанского Рима все же не позволяют еще видеть в нем городскую территорию, принадлежащую сложившемуся классовому обществу. Все это заставляет нас с осторожностью отнестись к заключению Э. Перуцци, полагая, что вопрос об аграрных отношениях и социальной структуре древнейшего Рима еще ждет специальных исследований.

Подводя общий итог, следует отметить, что оба тома труда Э. Перуцци можно рассматривать как самостоятельные книги, но они все-таки пронизаны общей идеей о решающем влиянии греческой культуры на древнейший Рим, который будто бы уже в ромулеанскую эпоху был вполне цивилизованным, пользовался письменностью, знал частную собственность на землю и в качестве основной социальной ячейки имел моногамную патриархальную семью, якобы предшествовавшую роду. Нам кажется, что генеральный вывод, касающийся социально-экономических отношений, в одной своей части остался еще недоказанным, а в другой неверен. Однако значение труда Э. Перуцци не определяется только этими выводами. Его работа по собиранию и сопоставлению множества разнохарактерных источников и особенно интерпретация лингвистических материалов позволяет продвинуть вперед источниковедение, и, стало быть, приносит несомненную пользу науке о древнейшем Риме. Подчеркнем еще в заключение плодотворность исследования Э. Перуцци, позволяющее уточнить картину культурной жизни ромуловой эпохи